

Юзеф Игнацы Крашевский

Чудаки

I

*Господину Эдмунду
Суше, в Варшаву
Тужа-Гора, 20
сентября 184... г*

Дорогой Эдмунд!

Пожалей обо мне, если образ твоей жизни и твои занятия дадут тебе время вспомнить о твоём друге. Наконец, я в Тужей-Горе, и ужасно скучаю. Я предвидел это, и предчувствие мое вполне осуществилось. Мало того, что я скучаю, но и в перспективе ничего не вижу, кроме мрачной и унылой скуки! Сердце рвется у меня из груди, голова кружится, гнев и бешенство терзают меня при мысли, что вы веселитесь в Варшаве, а я здесь зеваю.

Я научился зевать, спать, научился смотреть по полтора часа в окно, считать доски и гвозди в полу, считать брусья на потолке (нужно тебе сказать, что здесь потолки из брусьев, а полы из сосновых досок, прибитых попросту гвоздями, с торчащими снаружи головками). Но подожди, «не

вдруг Краков был воздвигнут»; узнаешь все, только имей терпение.

Ты знаешь хорошо, что я, будучи в долгах, преследуемый завистливою судьбой, обманутый Лаурой, не находя нигде покоя от Шмуля Мальштейна, чуть не попал в тюрьму за расходы свыше моего состояния. В это критическое время вспомнил я однажды вечером, что у меня есть очень богатый двоюродный дед, бездетный старик, огромным наследством которого с нетерпением ожидали поживиться дальние родные. Знаешь, как вдруг сила родства притянула меня к нему, как пожелал я деревни, охоты, уединения, тишины, отдаленного приюта и отдыха. Ты знаешь тоже, как мы расстались с дорогими приятелями за бутылкой шампанского, как я, упившись Монтебелло и надеждой, сел в коляску, выигранную у Альфреда, и в сопровождении трубы почтальона, отправился в неизвестные страны. За собой оставил я безутешного Мари,¹ которому должен был около двух тысяч злотых за последний завтрак, очаровательную Лауру, хороших приятелей, которых я обыграл, готовясь в дорогу, и Шмуля Мальштейна, который, поглаживая свою седую бороду, поднимал глаза к небу, как будто думая,

¹ Содержатель первого отеля в Варшаве.

что я уношусь в колеснице, подобно Ильи пророку. И в самом деле, кто из вас, оплакивающих меня теперь, не признает моих добродетелей! Прогнал ли я когда-либо жида, натравил ли на него собак, или, не воздержавшись, выругал его? Не уважал ли я в нем тех денег, которые он мне дал, и которые мог еще дать? Не был ли я вежлив с кредиторами, как маркиз XVIII-го столетия, и щедр, как русский боярин, но только на бумаге. После измены Лауры сделал ли я ей малейшую невежливость, на которую подстрекало меня мщение? Не кланялся ли я ей всегда, сделал ли я хотя ей упрек?.. Да можно ли вычислить все мои добродетели, которые все вместе теперь выступают предо мною, и кланяются, как разжалованные слуги!.. А вы, приятели мои, не признаете ли, что я принимал за чистую монету пенковые трубки, колечки с волосами, позволял ставить в банк портсигары; а, проигрывая, не платил ли до последнего пятизлотника? Не признаете ли вы, что я пил, не заставляя просить себя (даже плохое вино), был секундантом, хотя это пахло тюрьмой, и стрелялся с недавно возвратившимися из Парижа львами, которые доказали ловкость своих выстрелов на трефовых десятках у Лепажа и Девима. Увы! Нет ничего менее полезного, как общественные добродетели. К чему они мне теперьгодились? Таланты, знания, опыт, которые я дорогой ценой приобрел в

Варшаве, лежат теперь трупами предо мною: достаточно сказать, — я в Тужей-Горе. Но ты не имеешь о ней ни малейшего понятия, а потому начну с самого начала; до сих пор я писал с конца, то есть с жалоб.

Коляска моя катилась по неровной мостовой, спускаясь к Пражскому мосту; я же, закутанный в шинель, притворился спящим, открыв только один и то не весь глаз, боясь, чтобы Шмуль Мальштейн, или мимо ехавшая Лаура не узнали меня, и чтобы первый, схвативши меня за ворот, а другая за сердце, не задержали. И видел я одним полуоткрытым глазом все житейские сцены, с которыми я расставался. Город кипел, суетился, как вчера; никто не чувствовал лишения; никто не сожалел о моем отъезде: как было при мне, так и без меня!! Никто не надел после меня траура. Пораженный такою неблагодарностью, я отряхнул прах с ног своих и произносил красноречивое проклятие городу до самой заставы. У заставы, расставаясь с остатками городской жизни, почтальон начал громко трубить, а я уснул... Когда я проснулся, мы проехали уже Милосное, а вместе с сумерками напала на меня горькая тоска. Я думал о вас, и завидовал вам, зевая во весь рот. Они там весело проводят время, и никто обо мне не вспомнит! Лаура сидит на коленях генерала, приглаживая его хохолок и крашенные усы; Шмуль

дает займы Станиславу, как и мне бывало давал, а Мари откармливает деревенские желудки помещиков, приехавших в Варшаву, которые не знают, чему более удивляться: тому ли, что так вкусно едят, или что так дорого платят? Перебегая от одной мысли к другой, я неизвестно как дошел до размышления о своем будущем. Очутившись в этом незнакомом мне доселе положении, я сам сперва очень удивился. Оно было для меня совсем ново, — я пришел к нему инстинктивно.

Сирота, потеряв все, что имел, втянувшись в долги, не имея ни друзей, ни желаний, ни надежды в потухшем и высохшем сердце, имея только сто червонцев, колясченку и неоплаченного Станислава (Станислав неоплачен, потому что уже два года не получал жалованья), я пустился по волнам бурного моря приключений и судьбы. Я еду к деду, который никогда не видел меня, который вряд ли знает, жив ли я, к которому я не писал с тех пор, как матушка приказала мне написать ему по двум линейкам поздравительное письмо. Как он меня примет теперь? Что выйдет из моего путешествия? Жив ли он? Кто он? Те и другие вопросы приходили мне на ум, но ответа я не находил. Попробуем, говорил я про себя. О фантастическом дедушке своем я знал только, что он богат и что, вероятно, мне очень трудно будет его укротить и понравиться ему. На рассвете я снова проснулся после различных

сновидений, разбитый и утомленный, около местечка Белы, где старый замок, будто бы радзивилловский, сияет белыми ребрами своими, словно скелет кита, брошенный рыбаками на морском берегу. Отдохнувши здесь, я отправился дальше, а приехав в Брест-Литовск, изучил географию. Оказалось, что мне нужно было ехать через Люблин, Холм или Влодаву. Я, истый варшавянин, принял Полесье за Литву, думая найти Сушу около Вильно или Гродно. Я исправил свою ошибку, посмеявшись над ней вдоволь, и пробирался по почтовой дороге на извозчике к назначенной цели своего путешествия. Перепрыгнем сразу к этому месту, пропуская скучную и медленную езду по закоулкам страны, о которой ты не имеешь ни малейшего понятия, потому что не видел ее собственными глазами.

Страна эта дикая, страшная, скучная, населена только крестьянами, евреями и экономами; по крайней мере, ничего другого я не мог здесь заметить! Я, который давно привык к удобному жилищу, к роскоши жизни, к наружному блеску, который в городе прикрывает недостаток, каждую минуту приходил в изумление, каким образом люди в такой нищете, в унижении, в грязи и вони могут прожить хоть два часа? Первый мой ночлег в ужасной яме, которую здесь называют хорошей корчмой, показался мне вечным адом. Крестьяне,

такие привлекательные в старых идиллиях и новых повестях, показались мне страшными, закоптевшими, во всем уродстве нищеты, и в таком свете, в котором можно себе представить их несколько веков тому назад. Как назло, даже природа не услаждала горьких впечатлений, какие производили на меня люди и все человеческое. Наша природа в октябре месяце, как тебе известно, несколько не привлекательна и не нарядна; но я сомневаюсь, чтобы здесь и май был лучше. Огромное пространство занимали луговые болота, покрытые согнувшимися скирдами сена; кривые и бедные леса, желтые пески, редко покрытые сосновыми кустарниками, и над всем этим простиралось серо-грязное и мрачное небо, с которого падала какая-то неприятная влага.

Наконец, не знаю, в который день моего путешествия, когда мне не хватило сигар, табаку, французской водки, шоколаду, пирожного и конфект, купленных на дорогу у Лесля, я узнал, что нам осталось три мили ужасной дороги к Тужей-Горе и к дорогому деду.

Сознаюсь, сердце мое встрепенулось более от радости при мысли об отдыхе, нежели о моем почтенном дедушке, с которым я должен был познакомиться: мне нужен был более отдых, нежели дед. Одевшись по моде, я сел в коляску и присматривался, скоро ли покажется давно

ожидаемая пристань? Увы! Не менее шести часов я должен был ехать эти три мили по болотам и кочкам, и только в полдень извозчик объявил мне, что корчма, в которой мы кормим лошадей, принадлежит моему деду. По первому предмету я хотел вывести заключение и о владельце его, и потому с любопытством стал присматриваться к корчме.

«А! — подумал я, — если дедушка таков, как его корчма, то нечего ехать к нему». Представь себе самую жалкую хату, четыре низкие столба, забранные необтесанными колодами; в ней окошечко, впавшее в землю; зеленая крыша, поросшая мхом, полуразвалившаяся труба, кривые дверцы, словом — самый бедный шалаш на свете. Я решил, что старик слаб и нерадив, а слуги без толку управляют его имением. Лошади, отдохнувши, отправились дальше. Наконец, закончился однообразный лес; мы выехали на широкое поле, и вдали видна была гора, обросшая деревьями. Из-за сероватых ветвей уже высились башня костела и темные купола церкви. Приближаясь к Тужей-Горе, я взобрался опять на несносную плотину, возле которой стояли старые мельницы, покривившиеся и седые от мучной пыли; переехав через несколько чисто польских мостиков, я въехал, наконец, в местечко.

Но ты не знаешь, что здесь называют этим

именем. Жид составляет местечко. Обыкновенное правило: один жид — деревня; а несколько — местечко; чем больше их числом, тем лучше торговля. Добавочные приметы: церковь, костел и лавочки, которые занимают середину базара в Тужей-Горе; может быть они были когда-то довольно порядочными, но теперь видны только стропила на крыше, а песок засыпал их по самые окна. Перед ними под крышей — городские весы. Дом с крылечком, на верхушке которого висел прежде колокол, назывался ратушей. Высокий забор, окружающий сад, тянулся над широким рвом, кругом — деревья. Из-за ветвей я увидел, наконец, усадьбу. Высокие кирпичные ворота вели к ней; с одной стороны стояло большое, мрачное здание с высокой крышей и множеством труб; далее стоял такой же флигель, каменный амбар с гербовым флагом и т. д. Виднелся вал, когда-то окружавший старый замок, высохшая впадина, поросшая кустарниками, и тут же, прямо за двором, текла Суша. Дом моего деда имел вид почтенной древности; ничего подобного я никогда не видал. Деревянные стены его прорезывались довольно большими окнами. Крыльцо, поддерживаемое четырьмя столбами, со скамейками кругом было вымощено кирпичом, въевшимся в землю.

Когда моя коляска медленно подкатила к крыльцу, я увидел несколько любопытных фигур,

которые сбежались со всех концов дома, чтобы посмотреть на приезжего. Я остановился. Седоватый мужчина в короткой шубейке и в шароварах, подшитых кожей, с плетью в руке устремил на меня серенькие глаза, обрамленные мрачными бровями; казалось, он ожидал вопроса; я, между тем, измерял его глазами, желая отгадать — кто он? Лицо, покрытое морщинами, длинные усы, красные губы, серьга в одном ухе, бакенбарды необыкновенных размеров, поднятые вверх, дополняли физиономию этого человека; из-под шубейки высматривала бронзовая цепочка, принадлежавшая к большим серебряным часам.

— Дома ли пан конюший? — спросил я довольно вежливо.

Служитель (потому что без сомнения это был слуга) осмотрел меня и коляску и, вынув изо рта табак, ответил немного хриплым голосом:

— Дома.

— Могу ли я с ним увидеться?

— А почему нет?

Я сделал шаг вперед.

— Прошу указать, — сказал я, — куда мне идти?

— Прямо в зал, а потом направо.

— Без доклада? — спросил я.

— Ну, так что? — сказал удивленный служитель.

Только тогда я вспомнил, что я в деревне и что здесь должны быть другие обычаи, и пустился в путь за своим почтенным дедушкой.

В сенях на лосьих рогах висели трубы, сумки, охотничий бич, своры, ошейники, два зайца и вязка рябчиков. Без сомнения, сказал я про себя, семидесятилетний старик не может быть охотником: это все слуги у него так хозяйничают; я найду его верно в больших креслах возле камина.

Я отворил двери так называемого зала и вошел в довольно темную комнату, окна которой были обращены к заросшему берегу Суши. Стены были обиты старою полинявшею бумагой с какими-то странными узорами. От потолка спускалась фарфоровая люстра, закапанная воском. Диван и стулья были когда-то белые, вызолоченные, обитые полинявшим трипом лимонного цвета. Два стола, две изразцовые печки по углам (которые теперь топились), вот весь зал, и ни одной живой души. По указанию, я пошел направо, откуда слышен был громкий голос, и нечаянно услышал отрывок разговора.

— А был ли он там на месте?

— Да, был, ваше высокородие.

— И наверно знает, что лоси в тенетах?

— Говорит, что видел их.

— А облава заказана?

— Вчера еще.

— А почему она, сто тысяч чертей, до сих пор не вышла! Должна быть на месте! Послать сейчас гуменщика, полевого, лесничих с бичами, пускай выгоняют запоздалых.

Вслед за этими словами я вошел направо.

Два человека стояли с барсучьими сумками в противоположных дверях, а какая-то фигурка порядочно седая, маленькая, толстенная, широкоплечая прохаживалась по комнате, в таком же зеленом кафтане, с охотничьим бичом через плечо, в юфтевых сапогах и в шапке набекрень. Этот господин замолчал и осмотрел меня с головы до ног глазами, в которых выражалось сомнение и удивление.

— Могу ли я видеться с паном конюшим? Сделайте одолжение, скажите, где я могу его найти?

— Пана конюшего Сумина?

— Так точно.

— А на кой черт он вам нужен?

— Як нему приехал.

— К нему? Верно по делу?

— Без всякого дела, собственно из желания познакомиться с ним.

Старикашка недоверчиво смотрел мне в глаза.

— Разве он так занимателен, — продолжал старик, — что вы хотите знать его?

— Без всяких объяснений! Могу ли я его

видеть?

— А вот вы видите его, я, конюший Сумин.

Я попятился назад от удивления, не понимая, каким образом этот человек мог быть моим дедом, которого я всегда представлял себе бессильным, дрожащим стариком. Речь, которую я хотел сказать при свидании, улетучилась; я пробормотал только: Юрий Сумин, почтительно приближаясь к нему.

— А! Юраша! Пан Юрий! Черт побери, кто бы мог ожидать! Ха, ха, ха!

И старик бросился обнимать меня.

— Юрка! Подожди, ради Бога! У него семейные черты! Плутишка, одного поля ягода! Гей! Мальцовский, Иван, Павел, Матвей! Отложить охоту! Дайте мне насмотреться на него: ловкий в самом деле хлопец, только немного жиденький! А как я рад тебя видеть! Но какой черт загнал тебя в полесские леса?

— Я специально приехал из Варшавы, чтоб познакомиться с дорогим дедушкой.

— Дед, дед!.. Не называй меня этим именем, лучше конюшим или как себе хочешь. Смотрите, специально из Варшавы! Ну сознайся, ты охотник, и соскучился без охоты?

— О нет!

— Как, ты не охотник? Ну так что же ты?

— К несчастью, нет, но могу им быть.

— Ба, это не так легко! Ну садись же и будь,

как у себя.

Между тем дворня в большом числе собралась у дверей. Дед приказал снести мои вещи наверх, а сам, вынув из кармана ключи на сайговой лайке, отворил шкафик, достал бутылку с данцигской водкой и кусок пряника.

— Уставшим с дороги нужно подкрепительное, — сказал он, моргнув мне, — не правда ли? За ваше здоровье, Юрий!

Любезный Эдмунд, я отчаиваюсь, сумею ли я описать тебе все подробно, в особенности свое удивление. Я надеялся скучать, но не в этом роде: я предполагал встретить бессильного старика, окруженного всеми удобствами жизни, а наткнулся на полесского Немврода, крепкого и сильного, как лось, живого, подвижного, носящего при себе ключи, пьющего водку не менее четырех раз в день, едущего на охоту семь раз в неделю, в повозке, которая с первого раза наделаила меня такими коликами, что я чуть было не умер на месте.

Хочешь знать пана конюшего, так имей терпение прочесть письмо до конца. В первый день моего приезда я должен был поехать с ним и со всеми его дворовыми на охоту. Мне дали странную пудовую винтовку, от которой у меня плечо отваливалось; я озяб, получил насморк, и, подкрепив себя простою водкой, которую закусил холодной колбасой, возвратился вечером домой под

пение охотников.

Боже мой! Какой это варварский край, какие обычаи! К ужину дали мне, привыкшему к отменной кухне Мари, какой-то старосветский соус... Я попал в тупик от удивления. Представь себе какую-то кашицу из копченого гуся, с салом, и жаркое (для меня сделанное), сухое, как m-lle M... А винцо! А-а!.. Жаль, что не могу я поподчивать тебя этим сладко-кислым винцом! И это называют венгерским? Я не удивлялся бы, если бы его продавали в аптеках в склянках с сигнатурками вместо лекарства. Пан конюший все подливал и подливал, а я из вежливости пил и пошел спать с головною болью.

Меня поместили наверху в двух больших комнатах, холодных, как Сибирь, без двойных рам, без занавесей, без ставней и с шатающимся полом. Кровать для четырех особ с одеялом, которого моль не доела, столик без ножки, шесть стульев хромых и просиженных насквозь. К счастью, в камине пылал огонь — целая ольховая колода. Станислав мой бесился, не зная, как размесить вещи, как устроиться; я переносил все с ангельским терпением. Старый конюший сам провел меня, пощупал твердый тюфяк, нашел его чрезвычайно мягким для молодого человека, погрелся у огня и, уходя, сказал мне, что в этих парадных комнатах жил пятьдесят лет тому назад воевода Радзивилл,

который охотился десять дней в Тужей-Горе. Мог ли я сказать ему, что для меня неудобно то, чем довольствовался воевода? Станислав пожимал плечами в знак удивления, делал постоянные сцены. Я не мог с ним сладить; то бегал за восковыми свечами, которых здесь почти не знают, то за разными мелочами, даже названия которых им были неизвестны. С трудом я мог его уговорить успокоиться. Когда пришлось ложиться спать, я слышал, он опять бранился на чем свет стоит.

— Что с тобой? — спросил я.

Ему дали мешок, набитый соломой, вместо тюфяка: он проклинал, бедный, деревню и дорогу.

— Барин! — кричал он. — Вернемся в Варшаву: не то, через три дня люди будут собирать одни кости наши. Я не пил чаю. Должен спать на соломе.

— Привыкнем, — сказал я, вздыхая.

Вот как прошел первый день. Увы! И остальные ничем не лучше. Я должен был поневоле ко всему привыкнуть. Дед мой, по-видимому, честный и добрый человек, но мы никогда не пойдем друг друга. Охота, хозяйство, рассказы о старине, спор со слугами за вязку соломы, — вот вся его жизнь. Несколько десятков лет минуло, как он был в свете; можешь себе представить, какое он теперь имеет о нем понятие. На меня он смотрит, как на диковину, и считает меня аристократом. Не

знаю, притворяется ли он, но постоянно спрашивает меня на счет имения в Польше. Но это имение, ты знаешь, как оно далеко от меня. До сих пор я отделяюсь отговорками: не смею признаться деду. А что касается богатства моего деда, я сам не знаю, что думать. Имение громадное, но жалоб на недостаток еще больше; кажется копейку трудно добыть; бережливость величайшая: злоты у них великая вещь, а червонец, который я дал Мальцовскому, рассматривался с удивлением и уважением. Я ничего здесь не понимаю: ни счету, ни жизни, ни занятий, ни состояния. Я спросил, как они время проводят? Какое у них соседство?

— Мы время проводим прекрасно, — ответил конюший, — охотимся целый год: дичи вдоволь; соседство у нас отличное: во-первых, ксендз, приходский униатский священник с женой, прекрасною женщиной (у них восемь детей); далее — младший судья, пан Ловицович, капитан и проч.

— А женщины?

Об обществе женщин, кажется, они не имеют никакого понятия; по крайней мере, на мой вопрос, дорогой дедушка раскрыл рот в знак удивления и, как будто смешавшись немного, прибавил:

— Для какого черта нам с бабами возиться, и без них нам хорошо. Не будь их на свете — нам бы лучше было, — сказал он, полушутя. — Но вашей милости улыбается общество женщин! Ну, ну, и это

может быть у нас найдется. У нас есть дамы очень приличные и недурные собой.

Вот все, что я мог от него узнать; но не беспокойся, мой друг, ты не почувствуешь недостатка в моих письмах, из которых ты узнаешь новые похождения Робинзона. Обнимаю тебя от всего сердца. Поклонись от меня Лауре, Мари и даже Шмулю, только не говори этому мерзавцу, где меня искать, а то он, чего доброго, пошлет за мной. Прощай до следующего письма.

II

*Господину Эдмунду
Суше
В Варшаву, из
Тужей-Горы. 25
сентября*

Я ознакомился немного с жизнью и людьми, меня окружающими, и привыкаю. Жилище, пища, занятия, даже смертельная скука для меня более не в диковину. Только мой бедный Станислав в горьком отчаянии, и по крайней мере пять раз в день выкидывает ужасные штуки: рвет на себе волосы, прокликает то, что он без церемонии называет моим сумасбродством. Третьего дня, зевая, я ложился в свою широкую кровать, как

вдруг он с настойчивостью пристал ко мне.

— Барин, — сказал он с видом актера «Большого театра», — какие у вас мысли и намерения?

— Я думаю спать, — ответил я ему, закуривая сигару.

— Вы меня не понимаете, барин.

— Действительно, не понимаю.

— Что из всего этого выйдет?

— Я не знаю.

— А кто будет знать, когда вы сами не знаете?

Долго ли мы еще здесь будем?

— Пока нас не прогонят.

— Ясновельможный пан, — прибавил он, кланяясь, — пустите меня, я не могу здесь жить.

Я улыбнулся.

— Ей-Богу не могу; во-первых, здесь чистейший ад; во-вторых, народ здесь хитрый, злой как сто чертей, а на вид такой смиренный; в-третьих, здесь жить и говорить не умеют, от беды и скуки придется умереть.

— Ты нежнее меня?

— Я не знаю, но удивляюсь, как вы все это переносите.

— Должен.

— Барин, вернемся в Варшаву, умоляю вас; мы здесь пропадем. Народ здесь дикий, жизнь необыкновенная, ни одного человеческого лица,

одежда, повозки, пища, обычаи незапамятных времен, выдержать нельзя. Не замечаете ли вы, барин, как я хUDEЮ?

— Бедный Станислав! Ты горячишься, голова у тебя идет кругом; имей терпение.

— Рассудите сами, барин, можем ли мы здесь жить? Нам ли здесь ржаветь и пропадать, нам ли, проживавшим тысячи в Берлине, в Познани, в Варшаве среди отборного общества, среди шумных увеселений и самой роскошной жизни?

— Зачем же нам пропадать? — ответил я.

— Я вас не понимаю, барин, и завидую, что вы так скоро привыкаете ко всему; но я, простой слуга, умираю, барин, умираю. Вдобавок — нечего даже читать! Умираю, барин!

— Бедный, однако яду тебе не дали, я надеюсь?

— Всякий день мне его дают: я болею от их водки, пищи, постели, от общества, от воздуха... Вы не чувствуете, как здесь воздух пропитан смоляным дымом? Вчера я был в местечке, чтобы посмотреть, не найду ли я человеческой образины... Ах, ужас!

— Что же ты видел?

— Чудовища, барин! Знаете ли какие здесь женщины? Варшавские торговки более похожи на женщин; одно только, что не на четырех ногах ходят.

— А, я знаю, тебе недостает здесь хорошенького личика, несносный волокита!

— Ясновельможный пан, — выпрямясь, сказал Станислав, — не женщин, но «порядочного общества».

Я расхохотался во все горло. Станислав прибавил:

— Чтобы их черти взяли! И ушел.

Я уснул, став немного веселее от его беседы, которой я представляю тебе только отрывок.

В настоящем письме моем я хочу прислать тебе дополнение своих наблюдений над дедом и страной (видишь, я даже изучаю здешний язык), но ни того, ни другого не понимаю, в особенности богатств конюшего: все говорят, что он богат, долгов не имеет, а прислушиваясь и присматриваясь ко всему, я вижу непонятную для меня бережливость, даже скупость, слышу одни лишь жалобы на тяжелые времена. Вероятно есть ключ к этой загадке, которого я еще не нашел. Нигде нет признака богатства!

Отправляясь на охоту с дедом, я видел множество ветхих зданий, стоящих на поле. Я спросил его, что это такое? Он отвечал мне с улыбкой, почесав затылок:

— Хе! Не видишь что ли, что скирды.

— Что это за скирды? — спросил я.

Конюший помирал со смеху, и ответил,

ложась на повозку:

— Хороший вышел бы из тебя хозяин? Это склад хлеба на поле.

— К чему его так много?

— Запас, паничу, запас!

Я насчитал этого запаса несколько десятков, и осмелился спросить деда, зачем он не продаст хотя бы часть этого огромного запаса, если нуждается в деньгах и жалуется на тяжелые времена?

— Разве я банкрот, чтобы распродавать запас! — вскричал он с сердцем.

Поймите же их! Копейки у них нет, охают, жалуются, чуть соберутся — другого разговора у них нет, как о тяжелых временах; покупателей много, а хлеб гниет на поле, и едят его мыши. В этом есть какая-то тайна; дом моего деда — Эдипова загадка. Пан конюший говорил мне, что в прошедшем году ему предложили провести почтовую дорогу через Тужу-Гору, что, разумеется, оживило бы и обогатило окрестность.

— На кой черт мне это! — отвечал он. — Почтовая дорога только нагонит мне шум, крик и незваных гостей. Вчерашний день служит образцом завтрашнему: люди, вещи, язык, обычаи, понятия, все осталось вчерашнее. Третьего дня означает здесь несколько лет тому назад. — Начиная с лошадей, которых наряжают в хомуты XVII столетия, до сапогов с кистями, которые надевает

мой дед, все здесь не нынешнее. Они презирают день, который переживают, и всякую новость считают грехом; они приостановили бы время за полы, если бы у времени были полы, и охотно возвратились бы ко временам Саксов.² Богачи, они не пользуются своим богатством. В доме деда господствует величайшая скупость. Дед имеет при себе главные ключи, менее важные доверяет Мальцовскому, а все остальные вешают на колышек в спальне деда. В обстановке жилища у них все по-старому: затыкают только дыры, которые время пробилло тощими локтями. Новость, этот двигатель нашей жизни, они считают самым отвратительнейшим явлением. Можешь себе вообразить каково мне здесь?!

Я не умею говорить, ходить по-ихнему. То они смеются надо мною, то я им удивляюсь, потому что смеяться не могу и не хочу. Дедушка любезен, но помаленьку берет меня на исповедь; и с особенной заботливостью допрашивает о моем имении, а я не знаю, что ему сказать. Если он еще раз прижмет меня, то мне придется сказать ему всю правду.

Он очень гостеприимен, хотел бы занять меня и поразвлечь, но, придумывая различные

² Династия польских королей.

увеселения, заканчивает всегда охотой, которую он разнообразит по-своему.

Хотя я ко всему приготовлен, сомневаюсь, однако, переживу ли я это? Но пустить пулю в лоб время еще терпит; я могу подождать ради любопытства, которое раздражает мои нервы, разгадать загадку. Будь счастлив, мой друг, прощай до следующей почты.

«Твой Юрий».

P. S. Я читаю со слезами на глазах старый, прошлогодний «Варшавский Курьер», которым были обернуты мои лакированные сапоги. Он имеет в моих глазах особенную прелесть; изображает прошедшее просто, неизысканно. О, неоцененный Курьер! Какой слог! Какое разнообразие предметов! Сколько остроумия в шарадах! Сколько характеристичности в объявлениях! В нем сияет Варшава, трепещет жизнь!

У меня нет ни сигар, ни табаку; послали нарочного за шесть или десять миль; а пока я курю что-то такое, от чего тебе стало бы тошно от одного запаха; здесь это называют Залибоцким (или Забиятским, яд, да и только!)

Дурная привычка к чему не приведет!! Станислав стал молчалив, мрачен, и вдобавок не чистит сапог, доказывая что на Полесье это совсем лишняя вещь.

Дорогой Эдмунд!

Наконец я начинаю знакомиться с здешними соседями: вчера был капитан. Поздравь меня с этим знакомством. Я воображал увидеть воина, героя из повестей наполеоновских времен, и страшно ошибся. Представь себе фигуру, одетую не лучше пражского ремесленника, в серенькое, истертое платье, с лицом бледным, увядшим, фигуру, которая, лясь конюшему до дерзости, низкопоклонничает перед ним и болтает, как мельница. Представь себе этого гостя, которому я подал бы милостыню, встретив на улице, а дед мой посадил на первое место, угощал, принимал самым любезным образом. Один другого называл *dobrodzieju*, один другому говорил «целую ножки»; это ведь ничего не стоит. Несмотря на это, они, по-видимому, смеялись друг над другом с величайшей вежливостью.

Я должен категорически описать тебе этот первый цветок, который я нашел в степи, определяя его, как ботаник определяет найденное растение. Росту: два аршина, вершков... (в следующем письме пришлю точную мерку), худой, сухой, руки

длинные, с огромными пальцами, наконец, ноги толстые, спина согнутая, голова плешивая, седоватая, глаза серые, улыбающиеся, искоса лукаво подсматривающие, усы, определяющие капитанский чин, но в пренебрежении, как трава под забором. Это не те усы, которые служат украшением лицу и платят ему за это любовью; их обязанность засматривать любопытно в тарелку, и присваивать себе остатки обеда. Лицо изнуренное, щеки впалые... Он одних, кажется, лет с моим дедом. Платье серенькое, камзол чуть ли не из старого одеяла выкроен, табакерка в кармане, кисет на пуговке, сшитый из тряпичных треугольников различных цветов. Вот тебе капитан. Но ни один живописец не в состоянии уловить выражения лица его, ни Бродовский, ни Норвид. Какая в нем хитрая покорность, какая забавная униженность! Олицетворенная лисица!

Дедушка изумил меня, низкопоклонничая и унижаясь в перегонки с ним. Дорогой сосед пробыл до сумерек; уехал в простой повозке, запряженной плохую тройкой. Кучером и камердинером был у него простой мужик в сермяге, с трубкой во рту. Когда он ехал, я спросил у конюшего:

— Кто этот бедный, невзрачный господин? Должно быть ничтожный шляхтич?

Дед мой фыркнул со смеху.

— Опять «скирда» (он мои ошибки привык

называть «скирдами»). Он бедный, бедный! Так-то вы, варшавяне, умеете узнавать людей! Капитан со всею своей покорностью — самый твердый орех для соседей, и сидит на мешках золота. Это Крез, богач.

— Богач!!! — Я изумился. — У него, верно, есть семья, для которой он собирает деньги?

— Жена померла, сын в военной службе и ничего из дому не получает! Один живет, старый скряга!

После этих восклицаний дед замолчал, вздохнул, глаза его мрачно сверкали, я его еще не видал в таком состоянии. Я не понимал в чем дело, но вдруг дед мой повеселел и прибавил:

— О, меня-то он не съест в каше!

— Кто? — спросил я простодушно.

— А достойнейший капитан. Но ты ничего не знаешь?

— Решительно ничего; я несколько не подозревал, чтобы вы хотели есть друг друга, а судя по приему и обхождению, я думал даже, что вы глубоко уважаете друг друга.

Старик опять фыркнул и поправил хохолок.

— Терпение! — вскричал он. — *Labor omnia vincit*. Видишь, что даже плохой латынью блеснуть могу.

— Но по какой причине ему точить на вас зубы?

— Ты ничего не знаешь, братец, — повторил дед, — но здесь у нас под носом страшные вещи творятся.

— Я всякий день удостоверяюсь, что ничего не знаю и не понимаю, что делается на Полесье: иной народ, иная жизнь, иные связи.

Старик посмотрел мне в глаза, поцеловал в лоб, как будто в благодарность за мое грубое невежество, и смеясь, сказал:

— O sancta simplicitas! Съест черта, но не меня! Нужно объяснить тебе, в чем дело, — продолжал он и смотрел мне в глаза, как будто хотел их выколоть. — Ты должен знать, что капитан самая отвратительнейшая дрянь на земле. Я могу тебе сказать на ухо, — это шельма, какой свет не создал.

— Вот как?

— Именно так! — говорил дед, все более и более горячась. — Я не знаю подобного ему человека — такая дрянь! Со своею деревней подлез мне под самый бок, и хочет склонить меня к тяжбе, стараясь втянуть в дело, чтобы лес и луг, которые принадлежат к Тужей-Горе, отошли бы к нему. Но я не дурак! Предупреждая его, я хотел купить этот пустык, но негодный Джазгевич надул меня; верно взял с него взятку, хотя тот не охотник давать. Я отплачу Джазгевичу — время терпит. Ну после этого капитан стал придирается ко мне за рубеж. Но

я, дорожа спокойствием, держусь настороже. Когда соберется буря, тогда нечего делать, потешимся!

При этих словах глаза конюшого засверкали скрытой радостью. Мне кажется, что спор конюшого с капитаном — старые дела. Но кто знает? Может быть он с особенным наслаждением ожидает тяжбы. Среди этого бездействия, однообразия, недостатка в занятиях, если бы меня засадили в этой глуши, может быть, я тоже, разнообразя охоту, покусился бы на спокойствие соседей. Это не малое развлечение. Конюший с особенной подробностью продолжал свой рассказ, желая убедить меня, что он говорит чистую истину.

— Вот видишь, он унижается, расточает мне вежливости, я ему тоже. Присылает мне дичь и я ему; мы ездим друг к другу с поздравлением на именины, целуемся, обнимаемся, так что кости трещат, — а между прочим, я чувствую, что тяжба висит над головой.

Видна была какая-то тайна в этих словах: конюший, заметя это, начал заглаживать свою неловкость. Одна тайна их жизни разгадана — тяжба! Хэ, ведь это азартная игра. В простоте, не зная ланскнехта — они тягаются. Разница та, что мы играем на тысячи, они же на сто тысяч... Я наконец понимаю их. Везде человек — человек. Между тем скука с ними смертельная! Не имея возможности возвратиться в Варшаву, в отчаянии, я

придумываю, что мне делать? Через несколько недель, или месяцев, ты не узнаешь меня, дорогой Эдмунд, платье мое выйдет из моды, я сам огрубею, состарюсь, поглупею. В первом письме своем не забудь посоветовать мне, что мне делать? Проклятый Станислав убедил меня, что героическое лечение в Полесье хуже всякой болезни, хуже кредиторов, хуже долгового отделения! Спасай же твоего

«Юрия».

IV

*Господину Эдмунду
Суше, в Варшаве
из Тужей-Горы, 20
ноября*

По счету Станислава, сегодня два месяца, как я гощу у конюшего, и ровно месяц, как я не писал тебе, дорогой Эдмунд. Это лишение для тебя нечувствительно, потому что в городе один человек сменяет другого, для сегодняшнего друга забывает о вчерашнем! Но тебя должно удивить, что я ничего не пишу, я, который ради скуки хотел посылать к тебе одно письмо за другим!

Многое изменилось с приезда моего, и твой Юрий тоже. Да, да, последний месяц имел влияние

на меня, и на всю жизнь мою. Выслушай меня, любезный Эдмунд.

Рассказ свой я мог бы начать, переделывая стих Шекспира о многих вещах на земле и на небе, о которых не снилось даже философам, и сказать, что на Полесье есть много, премного вещей, которых наши философы варшавской мостовой не видали и во сне. *Terra incognita*, а я Колумб ее!

Два дня спустя после посещения капитана, о котором в последнем письме я писал тебе, мы получили от него — дед и я, пригласительные письма на охоту на лосей и диких коз. Конюший, рассмотрев конверты и адреса и не найдя никакого урона своему достоинству, решил принять приглашение. Сначала он хотел меня одного отпустить, но после, рассудив, что в таких щекотливых отношениях, в каких он был с капитаном, ему следует быть осторожным, решился сопровождать меня в Куриловку.

Название этой деревни задело мое любопытство. Это яма, трущоба, пустырь. Данте не знал нашего края, а то он бы непременно изобразил его в своем аде, и в его отделении поместил бы тех, которые при жизни своей слишком гонялись за новостью. Представь себе хижины, наполовину засыпанные песком, песок окружен болотом, болото — скучным и гадким лесом, лес песками и т. д. Через болота и леса прорезаны узкие и

извилистые дорожки, вымощенные корнями сосен и какими-то палками, по которым разъезжают только мужики и стражники. Бесконечные плотины, мосты, изорванные, как старая перчатка, везде ямы, грязь, кочки и т. п.

Все это нужно проехать, чтобы добраться до капитана; и это называется большой дорогой! Иногда полдня едешь и человеческого лица не встретишь, а мужика можешь принять за медведя... Пустыня Сахара! — Деревня с одной стороны окружена болотом, с другой — песками, покрытыми сосновыми кустарниками, мрачна, черна от дыму, а жители ее — идеалы нищеты и опустошения! Женщины носят какие-то чепчики, закоптевшие от дыму, которым здесь пропитан воздух. Они моются только по большим праздникам и имеют вид диких индейцев. Все живущие здесь прячутся и только из-за угла посматривают на проезжающих. За деревней стоит дом, окруженный садом и деревьями, низкий, в четыре окошка, с высоким забором и воротами, которые никогда не затворяются. Рядом с домом — гумно, сараи, конюшни и овчарни; все это на одном дворе, составляет одно целое. Четыре борзых собаки и одна дворовая с осмоленным боком, и искусанными ушами, кроме хозяина, приветствовали нас на крыльце. Капитан кланялся нам до земли и благодарил за счастье, за честь, за

милость, которую мы изволили оказать своим посещением, которое, как он выражался, останется вечным воспоминанием бедной его хижины и утешением его старости. Я никогда не ожидал, что я могу осчастливить кого-либо до такой степени.

Капитан, сопровождая нас бесчисленными гиперболическими вежливостями, на которые конюший отвечал ему вдвое большими, ввел нас в чистую горницу. Я сделал неловкий шаг, споткнулся на высоком пороге и стукнулся головой о низкую дверь. Два стола, два сундука, четыре дырявых, деревянных стула, камин, выбеленный ради нашего приезда, с самоваром для украшения; по стенам иконы Иисуса Миланского, Львовского (я имел время осмотреть), образ Пресвятой девы Холмской, Почаевской и Каменец-Подольской; в углу шашечная доска на маленьком столике; вот вся гостиная, из которой ход в спальню капитана. Толстая девка и босой слуга угощали нас завтраком. Поевши, мы отправились на охоту, и твой Юрий имел счастье убить огромного лося. Не знаю, вследствие ли моей ловкости, или по другой причине, я впал в особенную милость капитана. Он был со мною предупредителен, воодушевлен, вежлив, и занимал меня своим разговором. Несколько раз, впрочем, он намекнул о моем имени в княжестве Познанском, с улыбкой, которую конюший даже приметил. Но, когда в

четвертый раз навел разговор на эту тему, дед мой возразил с иронией:

— Не говорите об этом имени, капитан, вы нехотя можете сделать неприятность моему любезному Юраше. Вы должны знать, что вследствие тяжбы и происшедших от нее хлопот, он должен был отказаться от него.

Подобный отзыв деда не мало удивил меня.

Итак старик знал обо всем! Но откуда, каким образом, и почему он только теперь высказался?

Капитан закрутил усы и налил вина в рюмки, провозглашая наше здоровье.

Разговор шел об охоте. В сумерки капитан покорно просил нас остаться на чай.

— Навестив почтеннейшего родственника, — сказал он мне, — вы захотите верно познакомиться тоже с нашими соседями?

— Да, да, — подхватил мой дед, — без сомнения, без сомнения! Видно было, что ему не нравился разговор, и по той же причине капитан упорно держался его.

— У нас есть хорошие дома, — прибавил он, улыбаясь.

— Во главе которых тот, в котором мы имеем удовольствие быть теперь! — перебил конюший.

— Моя бедная хижина, которую вы, милостивые государи, удостоили своим посещением, недостойна такого возвышения, но...

— Не пора ли нам ехать, пан Юрий?

— Ей-Богу, не пущу! — закричал, вставая, капитан. — Лошадей даже не привели. Я возвращаюсь к разговору, во-первых вычислю дома...

— Играете ли вы в шашки, капитан? — спросил мой дед с явным замешательством.

Капитан подпрыгнул, вытащил из угла шашки, но не сводя с меня глаз, продолжал говорить:

— Дом пана Грабы...

— Начнем, капитан.

— Начнем... интересный дом, право!

— Да, действительно... Ваша очередь идти.

— Я пошел... Стоит познакомиться с соседями... И так, во-первых, дом пана Грабы, которого мы обыкновенно называем чудаком; во-вторых...

Он обратился к конюшему с вопросом:

— Ведь и панна Ирина живет постоянно в деревне, ваша воспитанница?

Говоря это, оба переглянулись, как будто желая съесть друг друга, а дед мой закрыл рот, опустил глаза и все внимание свое устремил на шашки.

— И так я считаю, — продолжал капитан, — дом пана Грабы, панны Ирины и Дудича.

— Это уже не соседство, — сказал мой дед.

— Считается нашим соседством, потому что не далее четырех миль от Тужей-Горы; а что касается Румяной, имени панны Ирины, вашей питомицы, — прибавил с ударением капитан, — то еще ближе.

Конюший молчал и с досады кусал костяную шашку. Капитан продолжал:

— Таким образом, дорогой дед и почтенный сосед наш, желая удержать достойного своего внука, как можно долее у себя, постарается развлекать его, знакомя с соседями, в особенности же с панной Ириной. Вы, верно не скоро уедете от нас. В Тужей-Горе светскому кавалеру, хотя приятно, но тем не менее покажется скучно: молодежь нуждается в молодежи.

Признаюсь тебе, что этот постоянный намек о какой-то панне Ирине, и еще более упорное молчание конюшего сильно подстегнули мое любопытство. Капитан, окончив, посмотрел на моего деда, который молча кусал шашку и, наконец, сказал с ударением:

— А как же, как же! Познакомимся с соседями: пана Грабу, панну Ирину и семейство Дудичей и всех живущих в окружности увидим.

— Не забудьте тоже и о бедном семействе...

— А как же, пане добродzieju, а как же, — прибавил дед, краснея и подвигаясь на стуле, — никого не забудем.

Я до сих пор ничего не знал о здешних наших родных, потому удивился и спросил о них.

— Гм! Ты забыл, любезный Юрий, — возразил старик с ударением, — вчера еще мы говорили о них.

— А, это о них говорит капитан! — воскликнул я, видя, что дед велит мне играть комедию, и входя в роль, я сейчас прибавил, — мы именно к ним собирались ехать.

Капитан поочередно посмотрел на нас и замолчал.

Вскоре после этого разговора, простившись с ним искренно и не менее пяти раз, при столике, у порога, в сенях, у крыльца, на ступени брички и в самой бричке, излив искреннюю свою благодарность, мы уехали с дедом.

Половину дороги конюший молчал, сопел только от злости, и, наконец, как будто невольно сорвалось у него:

— Съест черта, съест черта! Этот негодный капитан пригласил нас на эту проклятую охоту только для того, чтобы посмеяться вдоволь над нами. Слушай, настало время говорить откровенно.

— Я всегда откровенен.

— Ба, человек иногда откровенно лжет, но мы, ты понимаешь, будем чистосердечны. Правда ли, что ты свое имение проиграл?

Этот внезапный вопрос озадачил меня.

— Откуда такое известие? — спросил я.

— Откуда бы оно ни было, но правда ли это?

— Нечего мне скрывать: бедность не порок.

— Да, но беспутность и мотовство не делают чести человеку. Говори всю правду.

— Если я проиграл имение, — возразил я гордо, обидевшись, тоном, с которым были сказаны эти слова, — если я проиграл его, то свое собственное, и никого ни о чем не прошу.

— Ты проиграл не свое, не приобретенное своими трудами, но то, что твои родители, трудясь в поте лица, сохранили и оставили тебе. Во-вторых, до сих пор ты ничего не просишь, но что ты будешь делать, когда ни копейки у тебя не останется? Гм? Говори искренно и не сердись. К труду ты неспособен; поесть, выпить, покутить, вот на это ты мастер! Скажи мне, любезный, что будешь ты делать?

Удивленный, озадаченный, я замолчал.

— Говори, любезный Юрий, говори! — прибавил дед. — Не сидеть же тебе в Тужей-Горе, рассчитывая на мою кончину; наскучит же тебе ждать, потому что я не скоро умру. Не думаешь ли ты жениться на богатой?

— А если и так, то опять-таки никому не стану кланяться. Дед фыркнул со смеху.

— Так ты предпочитаешь жениться из-за денег! Ну, бросим все эти шутки, а станем говорить

серьезно. Ты слышал, что я богат, приехал, рассчитывая получить что-нибудь от меня, а увидев несовременного шляхтича и чудака, не знаешь, что делать, не так ли?

— Я должен молчать, досада душит меня.

— Молчи, любезный, я договорю за тебя. Он продолжал говорить следующим образом:

— Я хочу знать, что у тебя еще осталось, пан Юрий, чтобы помочь тебе, если можно. Не думаю, чтобы с нами, деревенскими жителями, тебе было весело; но посмотрим, что можно будет сделать для тебя?

— Вы хотите избавиться от меня, — сказал я. — Я не прошу вас ни о чем, и завтра же уезжаю.

Говоря это, я сам не знал, куда мне отправиться. При скоплении различных мыслей, Кавказ, Алжир, Испания и Америка, попеременно представлялись моему воображению.

Дед мой продолжал:

— Не считаешь ли ты меня безжалостным эгоистом, не имеющим ни одной искры сочувствия к ближнему? Я не прогоняю тебя и не хочу избавиться от тебя. Но, — прибавил с проклятьем, — всему причиной этот мерзавец капитан: желчь разлилась у меня. Я не скрываю, что у меня есть родные и другие лица, к которым я имею свои обязанности; большая часть моего имени разделена и имеет свое назначение...

Однако ж, я и тебя не хочу лишить наследства: оставлю тебе что-нибудь на память, это верно. Но ты не поймешь, если я скажу тебе, что, уважая в тебе свою собственную кровь, я хочу все же выпроводить тебя из здешних мест. Я не могу объяснить этого. Ты заподозришь меня в чем-либо другом; думай себе, что хочешь, я люблю тебя, но хочу, чтобы ты, как можно скорей, убрался отсюда прочь.

Я попал в тупик, не имея сил сердиться на деда; в нем кипели мысли и страсти, свойства которых я разобрать не мог. Его поведение со мной было покрыто тайной. Его скрытая борьба с капитаном, беспокойство, непонятные опасения и таинственность его поступков, все говорило мне, что за пределами жизни, которой я не знал, было много любопытного, потому без всякой обиды я выслушал его объяснение, прибавив только:

— Завтра я уезжаю.

— Еду, но не знаю куда, — сердито возразил мой дед. — Но скажи мне, по крайней мере, что у тебя осталось?

Заканчивая этот разговор, мы подъехали к корчме, из которой выходящий свет вдруг озарил лицо старика, и я увидел его страшно измененным.

— Какая вам польза, пан конюший, если вы будете знать о моем состоянии? Я ничего не прошу и не приму от вас. Скорее согласился бы я просить

милостыни у чужих, чтобы вы не подозревали во мне алчности и корыстолюбия, которых никогда не было в сердце моем. Вы хотите знать, зачем я приехал сюда? Мне было негде спрятаться не только от кредиторов, но и от воспоминаний своей жизни, от дурно проведенной молодости и угрызений совести. Свет широк!

Господин конюший заскрежетал зубами.

— В нем есть душа, — сказал он, — но нет головы. Сказав это, он опять обратился ко мне:

— Послушай, пан Юрий, — сказал он решительно, — если ты мне сделаешь это бесчестье и в сердцах оставишь меня с презрением, то клянусь тебе честью, я везде буду преследовать тебя, как тень, до тех пор, пока мы не примиримся. И только, может быть, в Америке я объясню тебе, почему, любя тебя за те качества, которые я открыл в тебе, я хотел однако, чтобы ты уехал отсюда.

— Завтра я еду, — возразил я равнодушно.

— И я за тобой.

— Мне очень приятно иметь спутника.

Приехав в Тужу-Гору, которую я приветствовал другими чувствами (часто один день в жизни многое в ней изменяет), я поклонился старику, и просил его позволить мне уйти в свою комнату.

Конюший пожал мне руку и шепнул тихонько: «Помилуй, при людях!»

Утро мы провели хотя любезно, но церемонно; вечером, чувствуя боль в сердце, несмотря на просьбы деда, я отправился наверх.

Станислав спал в уголку, потому что на Полесье им овладел сон, который можно, выражаясь поэтическим слогом, назвать непробудным: с утра до вечера все спал. На вопрос мой, почему он все спит, он отвечал мне:

— Э, барин, может быть во сне я увижу что-нибудь лучше, чем эта горемычная страна!

Ложась спать с головной болью, я приказал Станиславу, чтобы лошади были готовы к семи часам утра.

Сначала, не веря неожиданному счастью и думая, что я шучу, он остолбенел; но когда я повторил ему свое приказание, он упал к моим ногам.

— Правда ли это барин! — закричал он. — Как? Мы едем, едем в Варшаву! Я всю ночь буду укладываться и ручаюсь, что не опоздаем.

Я не могу рассказать, что с ним случилось. Он взбесился: бегал по лестнице, кричал, шумел, приказывал, суетился и не дал мне спать до самого утра.

Еще до рассвета коляска стояла готовая перед крыльцом, чемодан привинчен, Станислав в дорожном платье; недоставало только лошадей.

Ровно в семь часов я увидел Станислава в

дверях в большом замешательстве.

— Готовы ли лошади? — спросил я. — Скоро ли будут готовы?

— А, барин, сатана вмешался в наше дело! — вскричал он, теребя свои волосы. — Проклятая страна, все здесь не по-человечески. В европейском мире вам можно сказать, чтобы к семи часам лошади были готовы, но здесь...

— Ну, пускай же будут к девяти часам.

— А черт их знает! — возразил в отчаянии Станислав.

Ты знаешь, дорогой Эдмунд, какой у него потешный вид, когда он сердится. Несмотря на досаду, я смеялся над ним в душе.

— Вообразите себе, барин, — продолжал он, — вчера еще вечером я побежал в это оборванное местечко, недостойное даже этого имени; я спрашиваю, где почта, мне смеются в глаза. Дурак! Я забыл, что здесь нет почты. Мне пришлось в голову нанять извозчика. Я вбежал в корчму, носом к носу наткнулся на Маль-цовского; черт его знает, что он там делал ночью.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер.

— А что вы здесь делаете?

— Ищу лошадей.

— Как лошадей? — сказал он, потчужа меня зеленым табаком. Я понюхал усердно, потому что

был уже навеселе.

— Как лошадей? — спросил он опять.

— Да, завтра мы уезжаем.

— Завтра уезжаете?

Покачал головой.

— А много ли лошадей нужно?

— Четверку довольно с нас.

— Четверку! Сомневаюсь, найдете ли вы столько в местечке: все извозчики, сколько их ни есть, нанялись с мукой в Брест.

Он отошел. Я к извозчику: нет лошадей; но он сказал это, как будто эти слова его дорого стоили — вздыхая, и почесывая затылок. Я спрашиваю второго, третьего, четвертого: лошади есть, но черт их знает, почему вести нас не хотят.

— Что же делать? — спросил я. — Пойдем пешком.

— Они могли бы нам дать казенных. Входит дед, который уже собирался на охоту.

— Что это значит? — спросил он. — Коляска ваша уложена.

— Я уезжаю, пан конюший, или лучше сказать, иду пешком, потому что в местечке, хотя лошади есть, но не хотят нам дать.

— Не может быть, — сказал старик, незаметно улыбаясь. — Пан Станислав не умеет их искать: здесь по крайней мере десять извозчиков.

— Клянусь честью, — сказал Станислав,

кладя руку на сердце, — я везде искал, и нище найти не мог.

— Не нанялись ли они в Брест, потому что в это время они всегда едут туда с мукой?

— Точно так-с, — ответил Станислав.

— Но зачем вам торопиться, — прибавил конюший, подходя ко мне.

— Я должен, — ответил я коротко и сухо.

Старик вежливым наклоном головы дал знак Станиславу уйти и сел важно в позолоченных креслах. Вчерашняя буря прошла, он был спокоен.

— Ну, — сказал он, — не сердись, мой Юрий. Именем отца и матери твоей прошу тебя, не сердись на старика! Даю тебе слово благородного человека, что не равнодушие и не скупость говорили во мне вчера.

Я молчал. Пан конюший протянул мне руку; я пожал ее и ответил ему.

— Может быть, да, я верю; но вы же сами хотите, чтобы я уехал; вы вчера мне это говорили. Я еду, а если не найду лошадей, пойду пешком; подозреваемый в алчности, в расчете, я не могу здесь остаться.

— Ты не понимаешь меня. Этот капитан, этот чертовский капитан виной всему; он расшевелил мою желчь. Я сожалею о том, что я вчера говорил тебе, и прошу извинения. Прости мне и не уезжай. После я не стану удерживать тебя, но подумалось,

что дней пять ты можешь погостить у меня. Будь уверен, что мне очень приятно видеть тебя, но обстоятельства...

Он махнул рукой.

— Сегодня, хотя бы хотел, я не могу ехать, лошадей нет; но завтра, дорогой дедушка, как только Станислав найдет лошадей, я должен ехать, и уеду.

Подумав немного, старик вынул из кармана довольно большой сверток, и положив на стол, сказал:

— Перед отъездом ты должен принять от меня небольшой подарок. Я вздрогнул и попятился назад.

— Примешь ли? — сказал он.

— Никогда!

— Я даю тебе две тысячи червонцев, на которые я хочу, чтобы ты составил опять состояние. Я даю тебе их займы и возьму вексель.

— Благодарю вас, — ответил я, — скорее умру, чем возьму даром или займы что-либо от пана конюшего.

— Гордая душа, гордая душа! — сказал он про себя, видя мое волнение, и глядя мне в глаза, как будто желая выведать меня, он всунул опять сверток в карман.

— У тебя будут лошади, если ты так упорствуешь; хотя я хотел бы, чтобы ты остался у

меня не более пяти дней.

На этом закончился наш разговор. Дед приглашал меня на охоту; но я отказал; он тоже не поехал и только послал своих людей. Целый день мы провели у камина, или гуляя в саду, несмотря на осеннюю погоду. Это был один из редких дней, который, подобно светлой минуте старости, сияет почти перед самой зимой. Солнце еще согревало землю: длинные нити паутины расстилались по сухим ветвям деревьев и по стеблям завядших цветов. Кое-где расцветала еще запоздавшая почка. Тишина царствовала в природе, на полях хлеб собран, другой посеян и зеленеет; народ весел, потому что не голоден; а деревья покрыты листьями багрового и золотого цвета. Даже запах осеннего воздуха, пропитанного туманом, производил на меня грустное, но приятное впечатление. Я не узнал самого себя. Разговор с паном конюшим тянулся медленно, словно воз по полесским дорогам, подпрыгивая с бревна на бревно, или тихо волочась по пескам. Мы пошли в сад, а после во двор, напротив которого есть старый вал замка, воздвигнутого с незапамятных времен, и на фундаменте его построен теперь новый дом; липы и дубы окружают его, среди них стоит каменная скамья. Дед повел меня с собой. Мы разговаривали. Конюший впутался в отдаленный рассказ прошедшего, начиная с времен короля

Станислава. Солнце было уже на закате, а мы все еще сидели на скамье. Осенний холодок был довольно чувствителен; дул западный ветер, а багровые лучи солнца освещали разостланную по полю паутину. Вдруг среди затишья природы послышался топот и свист.

Дед мой побледнел, задрожал, соскочил со скамьи, посмотрел на меня и не решался идти; после с явным беспокойством сказал: — сейчас возвращусь! — и исчез. — Я остался в недоумении, и с любопытством всматриваясь во двор, увидел из-за деревьев перед крыльцом женщину, верхом на лошади, за ней двух грумов, отлично одетых, прекрасную коляску, а в ней другую даму. Я видел, как дед мой подошел к ним, раскланялся и скоро увел их в комнаты, а Мальцовский, еще скорее, лошадей в конюшню.

Я не послушался деда, который велел мне ожидать его, и отправился во двор; мы встретились с ним на половине дороги. Старик был взволнован и неловко притворялся равнодушным.

— Кто это приехал? — спросил я его.

— А, а, это очень странная личность, по соседству с нами — моя знакомая... я был ее опекуном; она навещает меня иногда... очень обыкновенная особа! Придешь ли к нам? — спросил он, смотря мне в глаза.

— Непременно иду.

— Ты, может быть, будешь скучать, или стесняться. Это очень странная женщина!

— Я иду, и буду помогать пану конюшему занимать гостей.

— Я знаю, что это тебя утомит, ведь тебе нужен отдых перед отъездом.

Увидев, что дед всячески старается удержать меня, я решил, во что бы то ни стало увидеть этих дам.

Смеясь, я взял деда под руку и вместе с ним вошел в гостиную.

Позволь мне подробно описать тебе кого я здесь увидел. Я чувствую, что эта минута великая и торжественная в моей жизни. Не смейся надо мною! Это любовь не та, которая поверхностно пролетит мимо сердца, не затрагивая его; чувство, которое я питаю — высокое, святое, достойное уважения — это сильная страсть, о которой прежде я не имел и понятия. Я, который после десяти дней обыкновенно говорил, что можно всем пресытиться, теперь не пресытился еще своим страданием. Прочитай с терпением это письмо, хотя оно гадко написано.

Конюший с явным неудовольствием и сопротивлением вошел со мной в залу, то бледнел, то краснел, точно вор, пойманный в злодеянии, иногда только хватал себя за седоватый хохолок. В камине пылал яркий огонь; напротив его сидела на

стуле молодая женщина, высокого роста, с лицом чрезвычайно белым, но бледным, с смелым взглядом, с большими черными глазами; бархатная амазонка, кожаные башмаки и хлыстик в руке составляли весь ее костюм. Коротко подобранные волосы спускались блестящими кудрями вокруг головы, прекрасный, высокий лоб, не покрытый ни одною морщинкой, возносился над ее лицом, как купол над храмом; дивные черты эти составляли целое необыкновенной красоты, какую можно увидеть только на древних статуях. Я протер глаза, чтобы убедиться, не во сне ли я ее вижу, не призрак ли это? Я боялся, чтобы она не исчезла и не рассеялась в воздухе. Рядом с нею сидела другая женщина, старше ее, но почти такой же красоты. Не спрашивая их, и не зная их, сразу можно было отгадать, что первая не испытала еще ничего в жизни, между тем, для другой она закончилась навсегда вместе с надеждами и отрадой. В глазах этой женщины не выражалось даже любопытство; взгляд ее был холодный, а стиснутые губы выражали равнодушие.

Эти две женщины представляли совершенную противоположность; казалось, первая рвалась к жизни, веря во все, чего не испытала еще; вторая же ничего более не желала, как спокойствия и конца смешной трагикомедии, которую называют жизнью. Выражение какого-то равнодушного горя,

неизлечимой тоски, презрения к миру можно было прочесть на ее изнуренном лице, покрытом преждевременными морщинами.

Ты можешь представить себе мое удивление при виде этих двух женщин, здесь, где ничего подобного я не ожидал встретить, здесь, где они казались каким-то фантастическим явлением. Осанка, наряд, — все в них изображало существ из другого мира. Представь себе две пальмы на полесских болотах; такими мне показались эти две женщины у пана конюшого. Я вошел и окаменел от удивления, но скоро опомнился, когда дед стал представлять меня:

— Мой внук, Юрий Сумин; пани Лацкая, панна Ирина З...

С панною Ириной, насколько я заметил, конюший был в самых дружественных отношениях.

Мы обменялись с ней взглядами, в которых выражалось то немое приветствие, по которому можно было судить о дальнейших наших отношениях. Злой, недовольный своим положением, и скорым отъездом неизвестно куда, я пришел в отчаяние, и впал в странное расположение духа: я сделался язвительен, насмешлив и пренебрегал всеми, начиная с хозяина. Обе дамы сначала смотрели на меня как на дикого зверя; им казалось странным видеть в глубоком Полесье существо с интеллигентной наружностью.

Дед мой подходил то к одной, то к другой даме, но с особенной отцовской, или лучше сказать, материнской заботливостью суетился около панны Ирины: то придвигал, то отодвигал ее стул, сам подносил ей воду, всматривался в нее, по выражению простого народа, как в чудотворную икону.

Несколько минут продолжалось молчание; конюший шепотом разговаривал с дамами, я, сидя в стороне, презрительно молчал, не думая даже присоединиться к ним. Однако я должен сознаться, что дивная красота панны Ирины и появление ее у моего деда сильно возбудили мое любопытство. Я хотел ближе познакомиться с ней, но частью гордость, а частью робость, первый раз напавшая на меня, удерживала меня на месте. Наконец, панна Ирина поднялась со стула, взяла со стола букет осенних цветов, и, играя им, стала прохаживаться по комнате. Ее движения и походка были величественны; я следил за ней пожирающими глазами. Пани Лацкая, опустив голову и сложа руки на груди, всматривалась в огонь, как будто желая отдохнуть после усталости. Конюший глазами провожал Ирину, а иногда и на меня посматривал с беспокойством. Ирина, как будто придумывая с чего начать разговор, равнодушно остановилась напротив моего стула, и спросила:

— Вы давно из Варшавы?

Конюший, не давая открыть мне рот, поспешил ответить за меня. Я в знак подтверждения склонил только голову.

— И долго вы думаете оставаться здесь?

— Я уезжаю завтра, — ответил я тихо.

— Скоро вам надоело наше Полесье?!

Я горько улыбнулся, смотря на конюшого, и возразил:

— Я не имел времени узнать его.

— Не любопытно?

— Не то, но другие обстоятельства не позволили мне думать об этом.

— Как? — спросила она самым естественным образом. — Ничтожные интересы материальной жизни, эту грязную кухню, вы ставите выше великих обязанностей и удовольствий — назначения мужчины? Вы, гоняясь за чем-то ничтожным, суетным, что обыкновенно у нас называют интересом, посвящаете ему знание края, народа, которое поучает нас всегда высоким истинам?

Этот вопрос, заданный в упор, от женщины, вовсе незнакомой, чрезвычайно удивил меня. Она точно расставила сети, чтобы узнать, кто я. Ни один варшавский лев не нашелся бы, что ответить ей, или дал бы самый обыкновенный ответ, чтобы свести этот разговор с высоты, на которую она поставила его. Но я, озадаченный своим

положением и взнесенный ее словами так высоко, ответил с некоторым удивлением, устремляя на нее взгляд.

— Свет и люд, сударыня, везде одинаковы; а эти лоскутья, которые составляют их наряд, обычаи, привычки, местный колорит, что это такое, как ни одна тленная форма, которая различна только по виду, но везде покрывает одну и ту же природу? Чего я не узнал, — попробую отгадать.

Несколько этих слов составляли как бы аккорд двух музыкальных инструментов, которые пробуют, одинаково ли они настроены? Мы обменялись взглядами. И только теперь, услышав из ее уст несколько слов, я видел, что не только необыкновенную красоту я имел перед собой, но и необычайное явление один из редких типов нашего времени, — женщину, которой ум столько же прекрасен, сколько и лицо. Какая же связь соединяла эту образованную женщину с конюшим, одеревеневшим ко всему? Правда, он говорил, что он ее опекун; но я не мог понять, каким образом из-под опеки моего деда могла взойти на степень необыкновенных явлений женщина нашего времени.

— Отгадать, отгадать! — повторила она мои последние слова, продолжая опять ходить по комнате. — Много вещей можно отгадать, но многому тоже нужно учиться. Мы в массе народа

должны изучать человека. Свет и люди — такая загадка, которую в течение всей нашей жизни нужно усердно отгадывать. Но кто только отгадывает, тот ложно понимает свет и весь род человеческий; а в столкновении с живыми образами смешивает их с произведениями собственной фантазии, не понимая причины своего обмана.

Вот ее слова, которые я хорошо затвердил. Ты можешь представить себе мое восхищение! Слова эти изливались из прекрасных уст свободно, без всякой изысканности, без усилия! Всякую минуту я более и более изумлялся ее смелой речи; она несколько не конфузилась моей столичной наружности и связей в обществе. Конюший бросал на меня разъяренный от гнева взгляд; я все еще сидел у окна.

— Не стоит отгадывать или изучать свет!..

— Всегда ли?

— По большей части.

— Откуда такое разочарование в молодых летах? — спросила она, встав напротив меня. Не думаю, чтобы это была только краска, которой красятся некоторые люди, выступая на сцене? Я предполагаю, что вы искренни.

— О, благодарю вас за это! Я искренен: что думаю, то говорю.

— Хорошо! И так скажите откровенно: какое вы впечатление увезете из нашей глуши?

— Не знаю: до нынешнего дня я не давал себе в этом отчета.

— Над этим не нужно задумываться, надо чувствовать.

— До сих пор Полесье казалось мне страной доброю, но очень дикой, — сказал я, улыбаясь. — Исключаю дом моего деда и все то, что я узнал в нем сегодня.

— О, только без комплиментов — пустого фимиама!

Пан конюший не мог более удержаться и вмешался тоже в разговор, но очень невпопад.

— Я просил его остаться, — сказал он, оборачиваясь, чтобы поправить огонь в камине, — но он так заупрямился ехать...

Я незаметно улыбнулся. Ирина посмотрела на меня и на деда, как будто догадываясь о чем-то.

— Пан конюший верно не умел просить. Но если бы мы старались удержать вас для лучшего исследования нашей страны?

— Ха, ха! — злобно улыбнулся мой дед, раздувая с беспокойством огонь. — Не упросим, не упросим: дал слово, я сам слышал, дал слово ехать.

— Кому? — спросила Ирина.

Но в это время конюший велел подавать самовар и притворился, будто не слышал. Я молчал. Теперь-то и высказалась ее короткость с моим дедом; она взяла его за руку и, смотря ему прямо в

глаза, спросила с настойчивостью:

— Кому дал слово?

— Кто? — спросил старик, притворяясь будто бы забыл. Она с нетерпением отбросила его руку и вскричала:

— Бедные старики, какая у вас слабая память!

На этом закончился первый эпизод. Разговор все более и более воодушевлялся. Она развивала его, переходя от одного предмета к другому. Дед напрасно пытался мешать нам, сел возле камина и предался глубокой думе. Пани Лацкая упорно молчала, посматривая с состраданием то на меня, то на Ирину, то на деда.

Подали самовар. Ирина усадила меня между собой и m-me Лапкой, деда с другой стороны, и начала хозяйничать, точно у себя в доме. Вдруг, осмотрев весь стол, она обратилась к конюшему с словами:

— Видно, дорогой опекун не ожидал сегодня женского нашествия, потому что не велел испечь для меня хлеба.

— О, уже пекут!

— Не стоит угождать моим прихотям! Человеку не следует баловаться, не зная, что его ждет в будущем.

И после прибавила:

— Но вместо благодарности, что я пятью днями раньше приехала, пан конюший не в духе,

как будто бы не попал в лося.

Когда она произнесла пять дней, я вспомнил, что дед позволил мне именно пять дней остаться у себя, и я взглянул на него, незаметно улыбаясь. Мы встретились взглядами, он сконфузился и встал, чтоб выгнать собак из комнаты.

Разговор после чая о столице, о литературе, о деревне и городе и другом продолжался до ужина. Несколько раз принимала в нем участие прекрасная и грустная m-me Лацкая; голос ее звучал необычайной грустью. После ужина мы разговаривали, как будто знакомые уже несколько лет. Я был весел, и если бы не горькая мысль о завтрашнем отъезде, я мог бы сказать первый раз в своей жизни, что счастлив был вполне.

Меня не мало удивило, что эти дамы несколько не собирались ехать, а между тем я услышал распоряжения Мальцовского насчет размещения их в нескольких комнатах, которые до сих пор оставались запертыми; итак, они оставались на ночь. Это подтвердила Ирина, обращаясь к деду.

— Я надеюсь, опекун не прогонит меня? Ночь темна; я чувствую усталость.

— Панна Ирина, панна Ирина! — с чувством сказал конюший, ломая руки. — Спросите, пустил ли бы я вас с вашей неустрашимостью ехать по распутице?

— Видите ли, еще побранил меня, вместо благодарности! — сказала она, подходя к нему и пожимая ему руку.

Он схватил ее за белые пальчики и торопливо расцеловал их; но сделав это почти страстно, он посмотрел на меня, отпрыгнул и расхохотался.

— Что! — вскричал он. — Хе? Старую печку черт топит! Счастье, что мне семьдесят лет, а то, черт возьми, эта пташечка далеко завела бы меня!

Сказав это, он в изнурении бросился на диван. А я с дамами (или лучше сказать с m-lle Ириной, потому что m-me Лацкая была молчалива и грустна), как старые знакомые, смеялся, шутил, болтал. Но вдруг Ирина сделалась серьезна, остановилась и прибавила, обращаясь к конюшему:

— Опекун, я в претензии на вас!

— На меня? Что же я сделал?

— Вы сделали преступление; вы доказали, что вы старый эгоист. Как, не желать поделиться с соседями своим дорогим гостем, да еще со мной? И это в стране, как наше Полесье, где гость из теплых стран редко прилетает, исключая аистов, которых у нас всегда много! О, это скверно!

Конюший покраснел.

— Он приехал на короткое время.

— Это нисколько не оправдывает вас. Если бы не капитан, который известил меня, что у нас есть дорогой гость в Тужей-Горе, то я бы ничего не

знала, и он преспокойно бы уехал.

Дед, услышав о капитане, вынул платок из кармана и незаметно на нем завязал узелок.

— Ну, уж этот капитан! — ворчал он про себя. — Опять новая штука! Хорошо! Посчитаемся!

— И я должна была, — продолжала Ирина, удовлетворяя врожденному у женщин любопытству, — ускорить свой приезд в Тужу-Гору. За это преступление я назначаю наказание моему дорогому опекуну: вы должны...

— Что прикажете? — сказал, подпрыгивая, старик.

— Вы хорошо спросили, пан конюший! Да, именем вашей привязанности ко мне, я повелеваю вам удержать вашего внука и не пускать его завтра. Пускай сидит у нас в Полесье.

Старик с горечью скривился и, неискренно улыбаясь, подошел ко мне. О! Нужно было видеть, как он просил меня! В его просьбе заключался тоже ответ.

— Ты не поедешь, любезный Юрий, нет, нет! Твое дело обойдется и без твоего присутствия. Стоит написать; не правда ли? Ты не поедешь: хотя ты дал благородное слово и оно свято; но тем не менее ты должен остаться!

В таком тоне долго еще говорил старик, наконец, Ирина, которая верно лучше знала, что таится в его душе, шепнула ему что-то на ухо, и

мой дед сейчас стал иначе удерживать меня. Ты понимаешь, я остался не для него, а для нее. Мы поздно разошлись по комнатам, хотя в Тужей-Горе ночь начинается обыкновенно в девять часов, и конюший значительно посматривал на часы, а m-me Лацкая несколько раз шептала Ирине на ухо, что пора спать; но она рассеянно принимала эти замечания и продолжала разговор.

Наконец, в одиннадцать часов старик стал немилосердно зевать, прохаживаясь по комнате и видя, что нас трудно разогнать, объявил бесцеремонно, что пора спать. Возвратясь к себе, я застал Станислава в превеселом расположении духа. Он не мало удивился, когда я ему объявил, что мы остаемся еще на некоторое время. В отчаянии он ушел из комнаты и бросился, не раздеваясь на кровать.

Я долго, долго ходил и мечтал. Дивно-прекрасная Ирина мелькала перед моими глазами. Но кто же она? Какая связь соединяла ее с конюшим? Трудно было догадаться. Я хотел было послать Станислава забрать справку, но в настоящую минуту он был ни к чему не годен: его убивала отсрочка отъезда. Поутру, проснувшись рано, я послал его разузнать о гостях; но их уже не было в Тужей-Горе, они ранехонько уехали, одна, по обыкновению, верхом, другая в коляске. Исчезли словно сон! Но когда вошел я в зал, в котором я

провел так прекрасно с ними вечер, перед мною предстало свежее воспоминание, которое мне казалось ночным бредом.

Конюший мрачный, задумчивый, облокотясь локтями на колени, сидел у потухшего камина; казалось, он постарел со вчерашнего дня; грусть, беспокойство, сильное огорчение читались на его лице. Он поклонился мне молча. Во взгляде его выражалось затаенное неудовольствие и гнев; однако он был очень вежлив со мной. После взаимного приветствия я не утерпел, чтобы не спросить о вчерашнем явлении. Он косо посмотрел на меня и сказал:

— Эти дамы уехали домой.

— Так скоро? Так рано?

— Я не хотел удерживать их, — отвечал дед. — В доме холостяка неловко принимать их.

Пауза.

— Кто эта панна Ирина? — спросил я.

— Молокосос! Вертопрах! — сказал старик, подымая плечи. — Всякая красивая и не глупая женщина вскружит вам голову на четверть часа. Нет степенности, нет такту! Вот уже вам влезла в голову панна Ирина. Брось это!

— С чего вы это взяли, пан конюший? Я спрашиваю из любопытства! Я видел ее только один раз, но она заинтересовала меня!..

— Вот тебе на, уже заинтересовала его!

— Она заинтересовала меня своею оригинальностью, а потому я хочу знать...

— Что знать? Какое у нее состояние, а? Обыкновенно, дочь помещика, девушка немного легкомысленная, своенравная и избалованная, вот и все. Что же знать? Зачем знать?

Разумеется, я замолчал.

— Да, да, — прибавил дед с кислым видом, — ведь после обеда мы едем в Румяную.

— Что это за Румяная?

— Это деревня панны Ирины.

— Итак у панны Ирины есть деревня? — вскрикнул я неосторожно.

— Вот тебе на! Вот тебе на! Он готов уже жениться, потому что у нее есть деревня: деревню проест, а жену бросит. Но, нет, паничу! Не для кошки сало, — сказал он тихо.

— С паном конюшим невозможно сегодня говорить; что вас так рассердило?

— Вот-те и рассердило! Разве я молодой ветрогон, забияка, должен смеяться и танцевать всю жизнь, как щегленок?

— И так после обеда, — сказал я — мы едем в Румяную. Он кивнул только головой.

Я вышел, чтобы поговорить с Станиславом насчет дороги; но желая показать себя во всем приличии, я возвратился опять с вопросом: не лучше ли поехать в моем хорошеньком экипаже? К

моему удивлению, конюший согласился, потому что его ноев ковчег был у кузнеца в починке, а нетычанка только что поломалась. Просьбой и подарком я уговорил Станислава с твердостью переносить обман несбывшейся надежды насчет нашего отъезда в Варшаву и пока приготовить мне все нужное для визита.

Я узнал, что m-lle Ирина владелица деревни; но есть ли у нее родители, родные и кто она? — никто не хотел мне сказать этого. Я было попробовал спросить Мальцовского; он улыбнулся, поднял плечи и ответил:

— Обыкновенно, ясновельможный пан, дочь помещика! Находилась под опекой моего барина. Очень хорошая девица, о, очень хорошая!

Получив столь богатые сведения, после молчаливого обеда, я отправился с конюшим по песчаной дороге в Румяную. Конюший больше молчал, делая иногда только краткие замечания по хозяйству.

— А таки не сделал, собачий сын, как я хотел, гм! Поле дурно обработано, везде виден пырей и пр.

Темнело, солнце было на закате; но я мог еще разглядеть окрестность, приближаясь к Румяной. Беспокорство конюшего обличало ее близость. Мы выехали наконец на широкую улицу, обсаженную старыми липами и покрытую теперь желтыми

листьями. Густые и широкие деревья виднелись вдаль, можно было догадаться, что это был сад; направо блестел пруд своими прозрачными водами, а над ним красовалась готическая часовня; прямо белел господский дом, влево от него в некотором расстоянии — службы. Мы въехали в огромный двор, покрытый желтеющей травой; кругом его возносились деревья, под которыми цвели еще не захваченные морозами далии. Дом, к которому мы подъехали, не похож был на прочие полеские дома: широкий, одноэтажный, но на высоком фундаменте, он тянулся перед нами с оранжереей на конце, с крытою галереей и башней на углу, из которой можно было видеть отдаленную окрестность; а кому известны мрачные виды Полесья, замкнутые черными лесами, тот вполне оценит эту башню: глаз мог свободно разгуляться в отдаленной перспективе. — Стеклоанное крыльцо было украшено вазами с различными цветами, расставленными с большим вкусом. Мое удивление все более возрастало. Как оазис среди пустыни, показался мне этот дом, которому не стыдно было бы стоять среди Парижа; содержится превосходно, украшен старательно, устроен со вкусом; он бы даже удивил и приготовленного к тому человека, а тем более меня, ничего подобного не подозревавшего, хотя я имел право судить по владетельнице о ее имени. Конюший мрачный, как

осень, сбросил свою походную епанчу и пошел вперед, ведя меня по большим залам, в которых везде виден был художественный вкус. Тысяча симметрично расставленных безделушек и различных цветов, роскошно раскинутая драпировка свидетельствовали о вкусе владельницы этого дома. Но кто же она? Где она воспитывалась? Я задал себе эти вопросы, идя по пустым комнатам, в которых дорогие картины, статуи, бронза доказывали не только высокое образование, но и богатство. Наконец мы добрались до небольшого зала, в котором трудно было повернуться от излишка мебели и различных вещей. Диваны, кресла, столики, скамеечки, приборы для рисования и вышивания, букеты цветов, большие вазы тропических растений загромождали этот уголок, забросанный вдобавок книжками. Прекрасное, красного дерева фортепиано Эрара, с вызолоченной резьбой, казалось, гнулось под тяжестью нот. На диване и трех стульях была раскинута портьера, которую составляли из различных вышитых кусков. Даже в этой комнате никого не было, но скоро отворилась боковая дверь, и Ирина, а за ней m-me Лацкая вошли в комнату. Конюший подошел к ним, делая над собой усилие, чтоб принять веселый вид.

На Ирине было фиолетовое платье из плотной материи, стянутое шнурком такого же цвета; руки

покрыты черными шелковыми перчатками по самые локотки, волосы гладко причесаны; m-те Лацкая в черном платье и без чепчика. Я не могу выразить, как они обе были хороши, в особенности Ирина! Я ожидал еще кого-нибудь увидеть — отца, мать, тетку, бабушку; но никого более не было. Ирина одна принимала нас, как хозяйка дома: у конюшего забрала сразу шапку и перчатки, которые он церемонно держал в руке; придвинула ему кресло, мне указала другое, и сама села. В каждом движении ее выражалась неописанная прелесть. Как сон на заре, прошел для меня этот вечер, и я не мог ничего удержать; в памяти осталось только общее впечатление самой приятной минуты в жизни. Трудно было развеселить моего деда; то пересматривал он книги, то читал газеты, то ходил по комнате, изредка измеряя нас любопытным и беспокойным взглядом. Мы парили высоко, а прекрасная хозяйка, которой давно уже не с кем было поделиться мыслями, была одушевлена и весела. Я первый раз в жизни находился в присутствии женщины серьезной, высоко понимающей назначение человека вообще, а женщины в особенности, и признаюсь, она мне показалась неземным созданием; мне стыдно стало погубленной моей молодости. Она точно на крыльях своей мысли подняла меня и указала каким кажется мир, если на него смотреть с высоты, и что

нам дана другая судьба и другая обязанность, а не та, которую мы с вами назначали себе в оргиях нашей молодости. Во всяком слове ее звучала светлая мысль. Строго, серьезно, мужественно говорила она о себе; так как люди привыкли говорить о недостатках других, она выказала свои, исчисляя их без трусливости, свойственной женщине, которая иногда придает ей еще более прелести, а иногда служит только покрывалом ее слабости. В обществе ее я чувствовал себя вооруженным смелостью на будущность; я возмужал; подстрекаемый, ободренный, я рассказал ей часть своей жизни. Я теперь только узнал, что дед мой гораздо лучше знает мое прошедшее, нежели я предполагал; с особенной едкостью, будто шутя, он помогал мне в моей исповеди, преувеличивая все то, что могло выказать меня с дурной стороны. Изредка посматривал он на Ирину, как будто хотел сказать: вот он, видишь, сам себя рисует. Но она не показала виду, что переменяла обо мне мнение; напротив, обращалась со мной без всякой натяжки, почти дружески. По странной симпатии, которая редко проявляется в свете, казалось, мы давно с ней были знакомы: во взгляде, в движениях я отгадывал ее прошедшее, которого я не знал. По мере того, как покрывало спускалось с этого божества, оно становилось все светлее, прекраснее, совершеннее; близость нисколько не

разочаровывала, а напротив, возвышала ее до идеала.

Обращение деда для меня было тайной, загадкой. Когда Ирина неумышленно вспомнила о капитане, конюший опять процедил сквозь зубы: «Съест черта, съест черта!» Покрутил усы и покраснел! Должен был, наконец, догадаться, что недоразумения между капитаном и дедом были не за луга и леса, но что в них таилась давняя ненависть друг к другу за вещи совсем другого свойства. Зачем прежде он даже не вспомнил при мне, что Ирина родня капитану?

Оставшись на ночь, мы отправились в павильон, выстроенный в саду. Из окон моей комнаты виден был широкий пруд, а за ним серели вдали сосновые леса. Несколько книг лежали на этажерке возле кровати, я любопытствовал рассмотреть их: все были неизвестны мне, как будто нарочно подобранные. Я долго читал, или лучше сказать мечтал, с книгой в руках. Поутру прислали спросить меня: хочу ли я сопровождать панне Ирине верхом на раннюю прогулку? Я хотел воспользоваться случаем быть с ней поближе и, одевшись скоро, побежал к большому дому. Лошади стояли уже перед крыльцом. Конюший, не желая, вероятно, отпустить нас одних, хотя не совсем любил прогулки без цели (то есть без гончих), однако, сел на гнедого бегуна, который

был ему назначен.

М-те Лацкая показала только в окне, прося Ирину, чтобы она не слишком шалила. Она вспрыгнула легко на ретивого коня, в той же амазонке, в которой была в Тужей-Горе и, предводительствуя нами, помчалась галопом по улице. Я держался ее; конюшему трудно было справиться с упрямой лошастью. Ирина повела нас по дороге, пролегающей между садом и прудом, к лесу; с знанием дела и смелостью она управляла своей лошастью. Большая часть женщин, которые ездят верхом, исключительно заняты лошастью, она же, казалось, не обращала на нее никакого внимания и вела с нами живой разговор. Окружающие нас виды, разноцветная осенняя природа, открытая степь служили основой наших мыслей, которые развивались в разноцветные нити и мчались в те отдаленные страны, где, как на дне морском, укрытые кораллы и перламутровые раковины гибнут в неизвестности. Борьба с лошастью разъярила нашего спутника, и он не мог более таить своего нетерпения и гнева.

Мы ехали тихо по опушке леса, примыкающей к пруду. С одной стороны склонялись над нами сухие ветви берез, почти совсем обнаженные, и зеленых сосен, с другой — о песчаный берег плескались волны, движимые ветром; узкая тропинка тянулась между лесом и

водой. Торжественная тишина, тишина деревенская, царствовала над нами; издали только слышен был грохот воза, гусиный крик, или разговор мужика. Ирина задумалась, и указывая на горизонт, вскричала:

— Боже мой! Отсюда стремиться в город!..

— Спросите этого повесу Юрия, — злобно сказал конюший, который подъехал к Ирине. Она с любопытством посмотрела на меня и без ответа прочла по моим глазам, что в эту — минуту я не грустил о городе, и после прибавила:

— Те только жаждут города и городской жизни, которые думать не хотят и не находятся в связи с Богом и природой; живя искусственной жизнью и поддельными чувствами, они стараются оглохнуть, одуреть, хотят жизнь сделать игрушкой. Среди толпы и крику, среди натиска впечатлений, разрывающих внутреннего человека, имеет ли человек время подумать о себе и о Боге?

— Уверю вас, — сказал я, — город для меня несколько не привлекателен, но...

— Какое но? Город для общества представляет элемент движения и умственного прогресса. Город живет тем, что ему из деревни пришлют, а так как рынок ежедневно нуждается в деревенском хлебе, в продуктах, заработанных потом мужика, так точно и для умственной жизни нужен ему плод деревенского труда. Большая часть

знаменитых сочинителей или великих философов жили и живут в деревне. Жан-Жак-Руссо, как вам известно, не мог свыкнуться с городом; среди самого города он искал деревни.

— О, философка! — закричал мой дед.

— Для того, чтобы обладать богатыми мыслями, нужно сосредоточиться в самом себе, — продолжала она, — а в городе человек принужден жить внешней жизнью; там одно впечатление скоро сглаживается другим; к тому же в городе человек портится, я убеждена в этом. Безнравственные зрелища, которые отражаются в его глазах, не могут не иметь на него дурного влияния; они стирают с него лоск молодости.

— Старая истина! — опять перебил конюший. — Вы не переделаете этого заклятого городского жителя, который не усидит с нами даже несколько недель.

— Почему? — спросил я.

— Почему! — ответил старик, немилосердно смеясь надо мной. — Потому, что здесь нет театра, а может быть актрис, нет шумных балов, карточных вечеров, клубов, и жизнь идет ровно как часы: тик, тик, однообразно.

— Правда, даже страх берет, как однообразно! — вскричала Ирина. — Человек создал для чего-то высшего, постоянного неизменного, а между тем чувствует, что нет

ничего постоянного. Если слишком долго продолжается для него одно и то же, он пугается — эгоист!

— Это ужасающее однообразие есть признак счастья, — сказал я. — Мы боимся потерять то, что высоко ценим.

— Счастье! Счастье! — говорила Ирина, как бы самой себе. — Да! Это спокойствие деревни и тихого уединения; иного счастья нет.

— О, есть еще иное! — вскричал я.

— Вы веруете в него? — спросила она, отвернувшись с грустной улыбкой.

— Я? Верую и не верую, но все же я надеюсь еще...

— Вы счастливы, надежда на счастье есть уже счастье.

Мы замолчали. Некоторое время мы ехали, не говоря ни слова. Конюший и его лошадь рвались домой. Ирина пустила свою вороную во весь опор, и скоро мы прискакали к крыльцу. Лошади конюшего были запряжены.

— Что это значит? — спросила хозяйка.

— Мы уезжаем, — возразил старик.

— Это невозможно.

— Пан Юрий торопится, — сказал конюший.

— Пан Юрий?

Я молчал, не желая противоречить моему деду. Она шепнула ему что-то на ухо; старик не

соглашался, качал головой; она увела его в галерею, долго и убедительно говорила до тех пор, пока, наконец, старик не приказал распрячь лошадей. Но оставшись по ее просьбе, он сделался невыносимым, и всю желчь свою излил на меня.

Но письмо мое переходит всякую меру приличия, и объемом своим может оправдать самые странные догадки почтмейстеров; я спешу его закончить, или лучше сказать прервать. Из следующего письма ты узнаешь судьбу твоего верного друга

Юрия.

V

*Тужа-Гора, 23
ноября*

Дорогой Эдмунд! Не знаю, право, на чем я остановился в последнем письме; я чувствую потребность поделиться с кем-нибудь и рассказать свои приключения на Полесье.

Кажется, я остановился на том, что конюший по просьбе или по приказанию Ирины (это для меня пока тайна) остался со мною в Румяной. Как только мы встали из-за стола, конюший увидел из окна казака, ехавшего из Тужей-Горы. Он побежал к нему навстречу в беспокойстве. И было чего